

**ПСИХОЛОГИЯ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСТВЕ
В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА**

Г. А. Урунтаева,
ИИДСВ РАО, Москва,
lotsman52@mail.ru

В статье рассматривается нравственное развитие в детстве в творчестве русского писателя конца XIX – начала XX в. Леонида Николаевича Андреева. Этот процесс он анализирует в условиях резкого пессимистического контраста между светлым миром детства и жестоким миром взрослых, обусловленного взаимосвязью рождения с надвигающейся смертью; социальной несправедливостью; равнодушием близких взрослых. Нравственное взросление ребенка неосознанно стимулируют взрослые, родители, случайно создающие для него реальную ситуацию тяжелого морального выбора. В поисках выхода из нее ребенок самостоятельно решает нравственную проблему, опираясь на образную логику, в совокупности моральных чувств, разума и воли, поэтапно переходя от остро переживаемых эмоций относительно проблемы и ее отрицания к пониманию ее сущности и выбору способа действия.

Главным условием нравственного взросления является духовная деятельность самого ребенка, а важнейшими приобретениями — произвольность поведения, умение понять точку зрения другого человека. Поведение ребенка, теряя детскую непосредственность, превращается из импульсивного и ситуативного в волевое. Он осознанно начинает, с одной стороны, строить нравственное поведение, направленное на помощь человеку, а с другой — на активный протест против несправедливостей мира взрослых или поиск идеала лучшей жизни. Протест может принять асоциальную направленность, а найденный идеал оказаться быстро разрушающейся иллюзией, краткое обладание которой все-таки возрождает духовную жизнь маленького человека.

Важными средствами нравственного развития являются чтение сказок, общение с природой и сверстниками, художественное творчество. Возрастные особенности взросления Андреев видит в усложнении предмета нравственного поведения — от понимания к сочувствию человеку и поиску идеала; в усложнении структуры нравственной деятельности — от организации помощи ближнему к активному протесту против зла жизни; а индивидуальные — в своеобразии эмоциональных переживаний и выборе способа решения нравственной проблемы.

Ключевые слова: Леонид Андреев; детство; агрессия; апатия; аффект; детская непосредственность; нравственное развитие; произвольность поведения; умение видеть точку зрения другого человека.

Для цитаты: Урунтаева Г. А. Психология нравственного развития в детстве в творчестве Леонида Андреева // Системная психология и социология. 2021. № 4 (40). С. 75–91. DOI: 10.25688/2223-6872.2021.40.4.7

Урунтаева Галина Анатольевна, доктор психологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва.

E-mail: *lotsman52@mail.ru*

ORCID: 0000-0003-3515-4889

UDC 159.9

DOI: 10.25688/2223-6872.2021.40.4.7

PSYCHOLOGY OF MORAL DEVELOPMENT IN CHILDHOOD IN THE WORK OF LEONID ANDREEV

G. A. Uruntaeva,
ISCFE RAO, Moscow,
lotsman52@mail.ru

The article examines the moral development in childhood in the work of the Russian writer of the late XIX – early XX century Leonid Nikolaevich Andreev. He analyzes this process in the context of a sharp pessimistic contrast between the bright world of childhood and the cruel world of adults, caused by the relationship of birth with impending death; social injustice; indifference of close adults. The moral maturation of a child is unconsciously stimulated by adults, parents, who accidentally create for him a real situation of difficult moral choice. Trying to find a way out, the child independently solves a moral problem, relying on figurative logic, in moral feelings, reasoning and will as a whole, gradually moving from acutely experienced emotions about the problem and its denial to understanding its essence and choosing the way of action.

The main condition for moral maturation is the spiritual activity of the child himself, and the most important acquisitions are the arbitrariness of behavior, the ability to understand the point of view of another person. The child's behavior, losing its childlike spontaneity, turns from impulsive and situational into volitional. On the one hand he consciously begins, to build moral behavior aimed at helping a person, and on the other hand, to protest against the injustices of the adult world or the search for the ideal of a better life. The protest may take an antisocial orientation, and the found ideal may turn out to be a rapidly collapsing illusion, the brief possession of which still revives the spiritual life of the child.

Reading fairy tales, communicating with nature and peers, and artistic creativity may become an important means of moral development. Andreev sees the age-related features of growing up in the complexity of moral behavior — from understanding to empathy for a person and the search for an ideal, as well as in the complexity of moral activity structure — from the organization of helping some person to an active protest against the evil of life, and individual — in the originality of emotional experiences and the choice of a way to solve moral problems.

Keywords: Leonid Andreev; childhood; aggression; apathy; affect; childlike spontaneity; moral development; arbitrariness of behavior; ability to see the point of view of another person.

For citation: Uruntaeva G. A. Psychology of moral development in childhood in the work of Leonid Andreev // *Systems Psychology and Sociology*. 2021. № 4 (40). P. 75–91. DOI: 10.25688/2223-6872.2021.40.4.7

Uruntaeva Galina Anatolyevna, Doctor of Psychological Sciences, Professor, honored worker of higher education of the Russian Federation. The Institute of Study of Childhood, Family and Education of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia.

E-mail: *lotsman52@mail.ru*

ORCID: 0000-0003-3515-4889

Введение

В России на рубеже XIX и XX вв. детская психология и дошкольная педагогика, формирующиеся в относительно самостоятельные отрасли знания, в процессе обучения отдавали приоритет нравственному становлению личности [11: с. 41; 17: с. 85]. Наряду с учеными — педагогами и психологами — к проблемам нравственного становления личности в детском

возрасте обратились писатели с позиций гуманизма, уважения детей, веры в их природную чистоту, искренность и совершенство, считавшие детство особым и значимым этапом в жизни человека. Писатели, освещавшие мир детства, способствовали тем самым превращению художественной литературы в специфическое средство познания детской психологии наряду с научными методами [11: с. 87]. В самой традиции, идущей от Л. Н. Толстого с его повестью «Детство» (1852), где впервые

описывался внутренний мир одного ребенка, а чуть позже и в рассказах А. П. Чехова (1883–1889), предстают не только индивидуальные, но и родовые черты детства, его гуманистически значимые ценности, которые разрушает жестокий мир взрослых [4: с. 62].

Нравственное развитие в детстве традиционно рассматривалось во взаимосвязи познавательной, волевой, эмоциональной сфер, через выражение отношения ребенка к социуму, людям, природе и самому себе [7; 9; 15: с. 320]. Увоенные им знания норм и правил поведения в обществе, понятия о добре и зле превращаются в мотивы поведения [20–22]. Он добровольно начинает выполнять моральные нормы, следовать привычкам нравственного поведения. Совершая или не совершая поступок, ребенок переживает чувство удовлетворения или вины, стыда [18; 19]. Эмоционально-положительное отношение к нравственным нормам сказывается в гуманистических чувствах (уважение, забота, отзывчивость, сопереживание, долг, ответственность и пр.). Важным приобретением нравственного взросления является соподчинение мотивов, произвольность поведения. Соподчинение мотивов складывается при их борьбе в ситуации выбора поступка, а само поведение из «полевого» с его импульсивностью и ситуативностью превращается в «волевое», теряя непосредственность, ведь ребенок сам его выбирает, а его мотивом становится нравственная норма [10; 14: с. 324; 15: с. 293]. Пути нравственного развития во многом определяют не только детские виды деятельности, но общение со взрослым как источником моральных знаний и оценок, примером для подражания [8: с. 123; 9].

В настоящее время прослеживается снижение нравственного и познавательного развития детей, вызванное уменьшением числа тесных контактов, личностно-эмоционального общения родителей с ребенком и их заменой на взаимодействие детей с виртуальной реальностью [16]. Таким образом, актуальным является обращение к опыту анализа нравственного взросления в детстве, накопленному в художественной литературе. К психологии нравственного развития в детстве обращался русский писатель Серебряного века

Леонид Николаевич Андреев [4: с. 104], который в рассказах одного из периодов своего творчества (1898–1903) описал этот процесс в условиях разрушения взрослыми светлого мира детства.

Взаимоотношения детского и взрослого миров: психологические аспекты нравственного взросления

Леонид Андреев был глубоко уверен, что детям присуща природная невинность, любознательность, познавательная активность, уверенность в том, что окружающий мир прекрасен, справедлив, а взрослые, особенно близкие, — их защитники, помощники. Он описал, как дети Стрелецкой слободы появлялись весной, живые, неудержимые, громкие, и жили беспокойной, шумной, веселой жизнью вместе с животными — вертящимися собаками, озабоченными курами, белыми тощими кошками («Весенние обещания»). «Как мухи на солнце, они бегали, ползали, кружились, и каждый в своей живой подвижности походил на троих, а смех их был как немолчное жужжание» [1: с. 213]. Мишка-исследователь, едва начавший ходить, ползал по зеленеющей траве на солнечной стороне под забором. Испугавшись собаки, грозного вертлявого воробья, долго и громко плакал. Пытался поймать прилетевшее откуда-то белое и легкое перышко, одушевляя его, уговаривал: «Голубосек. Миленький. Подозди». Оставшись один, малыш ощутил страх неизвестности, одиночества: «...ему хотелось есть, и дом был страшно далек, и не было возле близких людей, — это было так ужасно, что он поднялся, всхлипнул и, опустившись на четвереньки, пополз, куда глаза глядят» [1: с. 213]. Но, доверяя даже незнакомому кузнецу Меркулову, Мишка, когда тот его поднял и понес, «сразу успокоился и, покачиваясь на руках, сверху вниз, серьезно и самодовольно смотрел на страшную и теперь веселую улицу и ни разу до своего дома не взглянул на незнакомого человека, спасителя его» [1: с. 213].

Андреев видел крушение детского доверия к миру взрослых, оптимистических

надежд на лучшее будущее в резком пессимистическом контрасте, обусловленном взаимосвязью рождения с надвигающейся смертью; социальной несправедливостью; позицией близких взрослых, занятых лишь собой, не желающих понять детскую природу. Вот жители подвала радостно купают шестидневного, еще безымянного младенца, прикасаясь к его живому, пушистому, как бархат, нежному и слабому тельцу («В подвале»). «И так, вытянув шею, бессознательно озаряясь улыбкой странного счастья, стояли они, вор, проститутка и одинокий, погибший человек, и эта маленькая жизнь, слабая, как огонек в степи, смутно звала их куда-то и что-то обещала, красивое, светлое и бессмертное. И гордо глядела на них счастливая мать...» [1: с. 181]. Умиравшему Хижнякову казалось, «что это родился он сам для новой жизни, и жить будет долго, и жизнь его будет прекрасна. Он любил и жалел эту новую жизнь, и это было так радостно... А у изголовья уже усаживалась бесшумно хищная смерть и ждала спокойно, терпеливо, настойчиво» [1: с. 181]. Не суждено сбыться надеждам и этого малыша прежде всего из-за огромного социального разрыва между жителями подвала и богатых квартир: «...вверху, от низкого потолка, тяжелой каменной громадой подымался дом, и в высоких комнатах его бродили богатые, скучающие люди...» [1: с. 181]. Безрадостно жили многие маленькие и взрослые герои Андреева, как в Стрелецкой слободе: «...под низкими потолками хат с утра плакали дети, отравленные гнилым воздухом, ругались взрослые и колотились друг о друга, бессильные выбиться из тисков жизни. И всем было больно» [1: с. 209] («Весенние обещания»). Типична сцена дисгармоничных отношений хозяина книжного магазина и мальчика на побегушках: «Седобородый господин с благородным выражением лица почтительно говорил с кем-то по телефону... и крикнул: “Мишка!” — и, когда мальчик вошел, сделал лицо неблагородным и свирепым и погрозил пальцем. “Тебе сколько раз кричать? Мерзавец!”» [1: с. 184] («Книга»). Он поручил двенадцатилетнему Мишке отнести тяжелую связку книг под названием «В защиту обездоленных», которую сам затруднился поднять.

«На тротуаре Мишка толкал прохожих... Тяжелая кипа давила ему спину, и он шатался; извозчики кричали на него, и когда он вспомнил, сколько ему еще идти, он испугался и подумал, что сейчас умрет. Он спустил связку с плеч и, глядя на нее, заплакал» [1: с. 185]. В участке, куда городской привез Мишку, составили протокол, где он поставил крестик. Так, идеи о помощи страдающим существовали параллельно их миру, даже типографские наборщики не читали книги, а неграмотным они «вредили».

Беззащитные дети подвергались унижениям, влачили унылое существование в мире взрослых, разочаровывались в нем и родных людях, переживали одиночество в жизни и ранней смерти. Большая стриженная голова Сенисты, мальчика-подмастерья из ателье, была удобной для частых подзатыльников («Гостинец»). Он не хотел, чтобы уходил пришедший в больницу Сазонка, мастер-портной, чтобы «ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху» [1: с. 151]. Прощаясь, мальчик, над которым витал призрак скорой смерти, «совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке. <...> Было что-то загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков: как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем» [1: с. 152]. Лишь на четвертый день Пасхи Сазонка пришел по солнечной с яркими пятнами кумачовых рубах улице в больницу с гостинцем. Он увидел тело вчера вечером умершего Семена в мертвецкой, где стоял страшный холод, а небо через покрытое паутиной окно было по-осеннему серым и холодным. Город с нестройным гулом праздничных веселых колоколов не заметил смерть никому не нужного мальчика с выразительной фамилией Пустошкин. Лишь пьяница Сазонка обвинял себя, интуитивно утверждая гуманистическую ценность жизни и личности каждого ребенка, выражая позицию писателя: «Умер одинокий, забытый — как щенок,

выброшенный на помойку. Только бы на день раньше — и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возрадовался бы детским своим сердцем и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу» [1: с. 157].

Заметим, что высокие показатели детской смертности в России, по сравнению с Западной Европой, тревожили не только исследователей. Андреев с горечью писал: «Вот длинный ряд маленьких, осевших бугорков. Кто там? Ах, да. Это дети! Маленькие, резвые, шаловливые надежды. Их было так много и так весело и людно было от них в душе — но одна за другой умирали они» [2: с. 194]. Созвучен мнению Андреева призыв его современника, учредителя и члена совета Союза борьбы с детской смертностью в России, ученого-педиатра Н. П. Гундобина: «Бороться с детской смертностью необходимо постоянно, не упуская этой борьбы из виду на один день. Всякое промедление, всякая остановка в деятельности будет стоить тысячи человеческих жизней и притом жизней юных, полных сил, на которые возлагается вся надежда страны. <...> Несчастливые дети не имеют не только право, но даже возможности выразить свой протест и нужды, но их тихие стоны несутся по всей России» [6: с. 29].

Исследователи подчеркивали огромную роль матери в становлении личности ребенка. Другой современник Андреева — известный в то время педагог, психиатр и детский психолог И. А. Сикорский, утверждал: «Наилучшей воспитательной средой служит для ребенка постоянное общение с матерью, в том случае, если мать остается для него кормилицей и няней. <...> Из этого физиологического источника сближения матери с ее ребенком вырастают будущие чувства человеческой солидарности и альтруизма» [13: с. 46–47]. Но самого Андреева интересовали тяжелые переживания детей в ситуациях разрыва эмоционально близких отношений с матерью, нарушающей нравственные нормы (равнодушие, ложь, жестокость, несправедливость, пьянство и пр.).

Нравственные пороки взрослых, разрушая гармоничный мир детства и доверие к социуму, ставят перед ребенком проблемы добра

и справедливости, смысла и счастья жизни, невольно стимулируя его нравственное развитие. Его сущность писатель, а здесь и психолог, видел, с одной стороны, в освоении ребенком произвольности поведения, а с другой — в осознанном выборе протеста против зла взрослого мира и поиске нравственного идеала.

Освоение ребенком произвольности поведения

Андреев прекрасно понимал, как маленький ребенок видит природный и социальный, семейный мир. Так, душа шестилетнего Юры, героя рассказа «Цветок под ногою», открытая огромному миру во дворе дома, в саду, в городе, тянулась «ко всему: к солнцу, к ножу и оструганной им палке, к тем прекрасному и загадочным далям, что видимы с высоты железной крыши» [3: с. 142]. У наблюдательного, любознательного мальчика-исследователя интерес вызывали высокие заборы, деревья, собаки, люди, превращающие жизнь в непрерывное чудо. Часто днем, лежа на спине в траве или на крыше, он следил за глубокой синевой неба, за тихо проплывающими белогрудыми, серебряными или золотыми облаками. Подчиняясь непосредственному восприятию, подмечал то, что не видят взрослые с высоты своего большого роста: «землю... со всем ее неисчерпаемым богатством камней, травы, бархатистой горячей пыли и... изумительно разнообразного, таинственного и восхитительного сора... И, засыпая, последним ярким образом от прожитого дня он уносил с собою кусок горячего, залитого солнцем стертого камня или толстый слой нежно-жгучей щекочущей пыли» [3: с. 135–136]. По возвращении из города лучше всего помнил новый и необыкновенно интересный вид земли — «широкие, плоские каменные плиты, на которых и шаги, и самые ноги его кажутся ужасно маленькими, как две лодочки» [3: с. 136]. Юра, рассматривая мир со своей точки зрения, видя предметы такими, какими они даны в непосредственном восприятии, их размеры представлял так: отец и домашняя собака — 10 аршин; мать — 3; соседская злая

собака — 30; родной, одноэтажный, очень-очень высокий дом — верста; сад вокруг дома и деревья в нем неизмеримы, высоки бесконечно; город — неизвестно чего миллион. Он считал, что имя Юрий Михайлович Пушкарев присуще только ему, а офицера, ненастоящего Юрия Михайловича, так звали для шутки. Для этой особой умственной позиции, названной в свое время Ж. Пиаже эгоцентрической [12: с. 372], было характерно то, что Юра не мог смотреть на себя со стороны, не отделял себя от вещей: «Когда сильно и душисто пахла трава, то казалось, что это он сам пахнет так хорошо, а когда он ложился в постель, то, как это ни странно, в маленькую постель вместе с ним укладывались огромный двор, улица, косые нити дождя и пенистые лужи и весь огромный, живой, очаровательно-неизвестный мир. Так все вместе с ним и засыпало, так и просыпалось вместе с ним открывало глаза» [3: с. 142].

Но Юру начала волновать проблема отделения себя, своего Я от всего, что не он. Мальчик приходил к представлению о постоянстве мира, независимости его существования от своих желаний и состояний, когда выяснял, что оставленная вечером в саду палка наутро была там же, спрятанные в ящике бабки не изменились после темной ночи. «И вообще было удивительно и очень приятно, что и нянька, и дом, и солнце существуют не только вчера, но и каждый день; и от этого, проснувшись, хотелось смеяться и громко петь» [3: с. 143]. Разделяя людей на больших и маленьких, Юра больше ценил вторых, ведь с ними можно говорить обо всем. Поведение больших он считал глупым, так как они «расспрашивали о таких нелепых, всем известных, скучных вещах, что приходилось тоже притворяться глупым, картавить и отвечать нелепости; и, конечно, хотелось как можно скорее уйти от них» [3: с. 137].

Юра считал, что он стоит в центре жизни семьи, ведь отец и мама «были над ним, и вокруг него, и в нем самом два совершенно особенных человека, одновременно больших и маленьких, умных и глупых, своих и чужих» [3: с. 137]. Он был уверен, что его родители — очаровательные и единственные, очень хорошие люди, а других у него не могло быть. Юру

привлекали в родителях теплое отношение к нему, важные для совместной деятельности качества. С очень высоким, страшно умным, безгранично могущественным и потому немного страшным отцом интересно говорить о необыкновенных вещах, положив свою руку в его большую, сильную, горячую. С маленькой, очень доброй, нежной мамой у мальчика сложились тесные эмоционально-личностные, интимные отношения. Она «прекрасно понимает, что это значит, когда болит животик, и только с нею можно отвести душу, когда устанешь от жизни, от игры или сделаешься жертвою какой-нибудь жестокой несправедливости. И если при отце неприятно плакать, а капризничать даже опасно, то с нею слезы приобретают необыкновенно приятный вкус и наполняют душу такую светлой грустью, какой нет ни в игре, ни в смехе, ни даже в чтении самых страшных сказок» [3: с. 137–138]. Юра гордился тем, что в красавицу маму все влюблены, но беспокоился, когда на нее во время визитов «один из этих огромных, занятых собою и неизменно враждебных мужчин пристально и долго смотрит», ведь ее могут отнять. Тогда Юра ощущал, что каким-то образом заменяет отсутствующего отца, ему становилось тревожно и печально, когда мама отсылала его играть или спать. Но пока Юре было трудно встать на точку зрения другого человека, поэтому «когда он ложится в постель, является чувство спокойствия и такое впечатление, будто все уже кончилось: огни погашены, жизнь приостановилась, все засыпает, и подозрительный гость не то также уснул, не то ушел совсем» [3: с. 138].

Много раз он видел маму плачущей в каком-нибудь уголке; слышал ночью голоса — гневный, громкий отца и плачущий мамы; однажды вечером заметил отца рыдающим в кабинете, запомнив этот образ как что-то жуткое и чрезвычайно серьезное. Стремясь понять причину замеченного, Юра открыл страшную тайну: его прекрасные родители очень несчастны друг с другом, скрывая это. Он стал ощущать острую внутреннюю борьбу, связанную с противоречивыми переживаниями в отношении родителей, а также с выбором поступков, когда старался не показывать, что думает и чувствует, начав жить не только

в настоящем, но и в будущем. Открытие лжи в семье и ее возможной причины превращало поведение Юры из «полевого» с его импульсивностью и ситуативностью в «волевое»: он не только молчал о тайне как о святом и страшном, но и показывал всем, что все по-прежнему хорошо. Да и любить отца «нужно было так, чтобы он и этого не замечал, а вообще же делать вид, что жить на свете весело. И все это удалось Юре: отец так и не заметил, что он его любит особенно, а жить на самом деле было действительно весело, так что не было надобности в притворстве» [3: с. 142].

Счастливая жизнь Юры закончилась в необыкновенный день маминых именин, а вместе с нею ушла детская непосредственность, уступив место произвольности поведения. Удивительный праздник наступил во всей широте своей загадочности и великолепия, от которых Юра с детской непосредственностью сразу первый раз сошел с ума: визжал от восторга, выделывался, влез на высокую липу и стал кривляться. Сказочная ночь с разноцветными фонариками наполнила темнотой сад, дом, небо. От людей остались только голоса, от дома — треугольное окно из красного света, а на трубе блестела какая-то искорка. Второе сумасшествие Юры настало, когда он стал невидимым, растаял в ночи, стал воздухом и улетел: «Великая тайна ночи стала его тайной; и захотело маленькое сердце еще более тайного, в одиночестве тела возжаждало оно нечеловеческих слияний жизни и смерти» [3: с. 152]. С крыши подвала Юра подглядывал за происходящим в кухне, спальне, детской, за разговаривающими. Он пополз для большей таинственности по дорожкам, теперь кажущимися опасными. Юра так далеко ушел от людей и не знал, сколько прошло времени, возможно, десять лет, что стало страшно: «между ним и тем прошлым, когда он разгуливал, как все, раскрывалась такая пропасть, через которую, пожалуй, уж нельзя было перешагнуть» [3: с. 153]. Он чувствовал, что темноте нет конца, все потеряно навсегда, он остался один, о нем все позабыли, даже мама. Отчаявшись спастись, Юра пополз к вдруг замеченному загадочному, слабо мерцающему свету, которым оказалась

беседка. И здесь ощущение одиночества, забытости, прежде всего мамой, реализовалось в случайно увиденной сцене: офицер, ненастоящий Юрий Михайлович, обнял и целовал ее. Теперь Юра увидел реальную причину своей страшной тайны.

Потрясенный, переживая состояние аффекта, он ничего не слышал, внезапно забыл значения слов не только взрослыми произносимых, но и своих, каким раньше научился и умел говорить. Юра «помнил одно слово: “мама”, и безостановочно шептал его сухими губами, но оно звучало страшно, страшнее всего. И чтобы не крикнуть его отчаянно, Юра зажал себе рот обеими руками, одна на другую; и так оставался до тех пор, пока офицер и мама не вышли из беседки» [3: с. 155]. Произвольность поведения в ответ на нравственный конфликт помогла в этот момент сдерживать аффект. Продолжая его сдерживать в комнате играющих в карты взрослых, Юра выбрал, на его взгляд, надежный способ защиты отца, сокрытия от него сцены в беседке. Услышав, как лысый старик обвинял отца в нечестной игре, он с диким визгом и безумными слезами набросился на старика с кулаками и закричал: «Не смей обижать!». Когда вошла мать, мальчик закричал еще громче, отвлекая подозрения отца. Он не пошел к ней на руки, выражая протест, а крепко прижался к отцу, и тот отнес сына в детскую, где Юра, скрепя сердце, отпустил его. Мать, уложив сына в кровать, не держала его, как обычно за руку, а сидела отстраненно, будто его и не было. Вдруг, возможно, чувствуя свою вину, она встала на колени перед кроватью и со слезами часто-часто, крепко-крепко стала его целовать. А тот откликнулся на ее порыв: «тяжело-сонным движением Юра поднял обе руки, обнял мать за шею и крепко прижался горячей щекой к мокрой и холодной щеке — ведь все-таки мама, ничего не поделаешь. Но как больно, как горько!» [3: с. 158]. Финал рассказа с символическим названием «Цветок под ногою» остался открытым: раздавлен «цветок» без сожаления в угоду своим прихотям самым близким взрослым — мамой, оказавшейся бессердечной, лживой, или ребенок, потеряв к ней доверие, а также детскую непосредственность, стал произвольно,

независимо от наличной ситуации строить собственное, личностное поведение; освоил умение видеть точку зрения другого человека, сопереживать ему, прощать его.

Овладеть этими качествами другому андреевскому персонажу — Вале, бедное лицо которого имело прямой серьезный взгляд, помогло самое важное его занятие — чтение сказок («Валя»). Приход незнакомой женщины (Акимовой) не только прервал захватывающее чтение Вали о подвигах смелого королевича Бовы, но кардинально изменил его мировосприятие и жизнь. Она назвалась его матерью, а Валя, живущий в приемной семье, очень удивился тому, что бывают две мамы. Он столкнулся с тяжелой нравственной проблемой, в мучительном решении которой переходил от ее отрицания, к страху перед странной женщиной — кровной матерью, когда-то бросившей его, потом к сочувствию к ней и наконец ее прощению и принятию, но его прежний чудный мир разрушился. Поскольку «для него слово не имело такого значения, как для взрослых» [3: с. 76], он равнодушно отнесся к неожиданному открытию о том, что его нынешняя мама — это тетя, а его настоящая мама — пришедшая незнакомка, отрицающая наличие нравственной проблемы. Вале она не понравилась, высокая, дурно пахнущая какой-то сыростью или гнилью, с костлявыми пальцами, неподвижным лицом, колючими ласками. Что-то фальшивое, неестественное звучало в ее голосе и смехе, фальшь была и в ее движениях. Для понимания возникшей проблемы он представил конкретную ситуацию из собственного опыта: его, маленького и смешного, как подаренного недавно беленького котенка, со всеми лапами помещающегося на блюде, давно принесла и отдала навсегда эта женщина, а теперь, когда он стал большим и умным, хочет взять себе.

Но отрицание проблемы не сняло ее, более того «эта странная женщина с лицом, таким безжизненным, словно из него выпили всю кровь, неизвестно откуда появившаяся и так же бесследно пропавшая, всколыхнула тихий дом и наполнила его глухой тревогой» [3: с. 77]. Поскольку бывшие мама и папа лишь ласкали Валу как тяжелобольного, который должен скоро умереть, он самостоятельно

пытался понять, почему странная женщина намерена забрать и погубить его. Мальчик обратился к огромному опыту человечества, содержащемуся в сказках. Напомним, как в книжном магазине «книги пестрыми рядами стояли на полках, и за ними не видно было стен; книги высокими горами лежали на полу; и позади магазина, в двух темных комнатах, лежали все книги, книги. И казалось, что безмолвно содрогается и рвется наружу скованная ими человеческая мысль, и никогда не было в этом царстве книг настоящей тишины и настоящего покоя» [1: с. 184] («Книга»).

Воображение Вали, опирающееся на чтение сказок, предоставляя ответ с помощью сказочных образов и их превращений, усиливало тревогу, боязнь, приводило к господству страха. Он боялся спать один, бредил и плакал по ночам, ощущая в углах своей комнаты тихий, таинственный мрак, призраков, хихикающих и выглядывающих из дверей темной комнаты, что-то большое и темное между корнями цветов. Вале казалось, что женщина поджидает его у дверей дома, чтобы унести «в какую-нибудь черную, страшную даль, где извиваются и дышат огнем злые чудовища» [3: с. 80]. Все злое и страшное принимало образ загадочной и безумно злой силы, желающей погубить человека, — полеты ужасных людей-чудовищ на колючих крыльях с красными, как угли, глазами, их жалобные, продолжительные вопли, острый как нож смех, дикая странная пляска при багровом свете факелов; человеческая кровь и мертвые белые головы с черными бородами. Эта сила становилась образом женщины, пришедшей за Валий. «...Это лицо... было такое длинное, худое, желтое, как у мертвой головы, и улыбалось хитрою, притворною улыбкой, от которой прорезывались две глубокие морщины со стороны рта. Когда эта женщина возьмет Валу, он умрет» [3: с. 82]. Теперь серьезному и задумчивому Вале даже быстро надоедали глупые, шумные, крикливые, неприличные дети, которые ломали цветы, рвали книги, прыгали по стульям и дрались, как обезьянки.

После отказа суда в иске Акимовой Валя избавился от страхов, а в фантастических играх с обезьянками стал самым изобретательным, опираясь на сюжеты прочитанных книг,

изображал индейцев или сына богини Кали. «И когда Валя, молчаливый и строгий, как истый сын богини Кали, сидел у отца на плечах и постукивал молоточком по его розовой лысине, он действительно напоминал собою маленького восточного князька, деспотически царящего над людьми и животными» [3: с. 87–88]. Теперь он, не испытывая к женщине страх, искажающий черты ее худого лица, стал думать о ней, как о других людях. Прислушиваясь к разговорам взрослых, часто называвших ее бедной, несчастной, Валя пытался понять эти эпитеты, и тогда «это бледное лицо, из которого выпили всю кровь, становилось проще, естественнее, ближе» [3: с. 88–89]. Интересуясь «бедной женщиной», он вспоминал прочитанные истории о других таких женщинах и начинал испытывать к ней жалость и робкую нежность, представлять, «что она должна сидеть одна в какой-нибудь темной комнате, бояться и все плакать, все плакать...» [3: с. 89]. Одной из таких историй была сказка о тихой, печальной, кроткой русалочке, которая пожертвовала всем ради любви к принцу и умерла в день его свадьбы на веселой принцессе. Восприятие сказки ребенком, считают исследователи, отличают необычайная непосредственность и эмоциональность, активное сопереживание героям, нравственная идентификация с ними, постановка себя на их место, предвосхищение событий, а значит, осознание смысла его поступков для разных людей [8: с. 63]. Такая специфика восприятия помогла Вале освоить умение представлять жизненную ситуацию другого человека, понимать глубину его страданий.

После отмены палатой решения окружного суда Валу присудили матери по крови. Но неизвестным оставалось, будет ли счастливой его будущая жизнь: «Извозчицы сани мягко стукали по ухабам и бесшумно уносили Валу от тихого дома с его чудными цветами, таинственным миром сказок, безбрежным и глубоким, как море, и темным окном, в стекла которого ласково царапались ветви деревьев. Скоро дом... навсегда исчез для Вали. <...> И тогда Валя думал, что они неподвижно стоят на одном месте; и все начинало становиться для него сказкою: и сам он, и высокая

женщина, прижимавшая его к себе костлявою рукою, и все кругом» [3: с. 91]. Вале, оказавшемуся в маленькой, грязной и жаркой комнате, не понравились жалкие картонные лошадки, тонкие оловянные солдатики, ведь он давно не любил и не играл в игрушки, но он осознанно из вежливости не показал этого женщине. А она с бледными, выцветшими глазами, с неприятной, насильственной, заискивающей улыбкой пыталась заговорить с ним, объяснить, что она одна во всем мире и ей не с кем посоветоваться, прося у него помощи, и наконец заплакала. Возможно, именно это наблюдение за страданиями бедной женщины стало последней каплей в перемене отношения к ней мальчика: «Валя решительно подошел к кровати, положил свою красную ручку на большую, костлявую голову матери и сказал с тою серьезною ответственностью, которая отличала все речи этого человека: “Не плачь, мама! Я буду очень любить тебя. В игрушки играть мне не хочется, но я буду очень любить тебя. Хочешь я прочту тебе о бедной русалочке?”» [3: с. 93]. Валя впервые назвал женщину мамой, предложив способ установления контакта — чтение сказки. Он не только простил мать, когда-то бросившую его, но ощутил себя ответственным за ее судьбу и принял свою судьбу, поэтому для Андреева мальчик, осознанно выбравший нравственную позицию, — человек.

В рассказе «Алеша-дурачок» Андреев описывает, как произвольность поведения, умение встать на точку зрения другого человека помогают одиннадцатилетнему гимназисту Мелиту осознанно строить нравственное поведение в определенной ситуации жалости, сочувствия и помощи конкретному человеку, но все-таки еще опирающееся на присущее образной логике представление о добре. Мелит встретил Алешу-дурачка в холодный ноябрьский день на ступенях парадного крыльца своего дома, в одежде более чем летней, сквозь дыры в которой проглядывало голое, синеватое тело. Он «с быстротой нерассуждающего детства», долго не раздумывая, составил простой, «чудный план помощи Алеше, имевший целью не только спасти его от холода, но обеспечить его будущность по меньшей мере на несколько

десятков лет» [3: с. 9]. По плану предполагалось дать Алеше «как можно больше денег», долго не размышляя о нужной сумме. Вытребованную у матери без лишних объяснений драгоценную бумажку в один рубль мальчик отдал Алеше, не задумываясь о цели и времени возможных ее трат.

Поскольку нравственное поведение мальчика еще требовало поддержки, разделения радости от сознания сделанного добра, он отправился за ними к дворнику Василию. Тот состоял в почетной должности поверенного, но отнюдь не бескорыстного друга, так как дружеская откровенность Мелита стоила ему десятка папирос из ящика отца. Заметим, что оценка нравственных поступков у Мелита еще не сложилась, ведь он важным считал оказание помощи Алеше и незначительным кражу папирос. Василий громко хохотал над трогательным рассказом о помощи Алеше, зная, что посылающая его собирать копеечки Акулина отберет все деньги. Мелит, готовый защищать справедливость даже в трудных ситуациях, уговорил дворника сходить к Акулине, несмотря на то что боялся ее, самую носатую, высокую, сильную, страшную и громогласную на свете. Он представлял ее ведьмой, «останавливаясь перед одним лишь вопросом: каким же должно быть помело, на котором она летает?» [3: с. 13]. В доме Акулины, узнав, что она отобрала деньги и избила Алешу, Мелит, проявляя физическую и вербальную агрессию, в гневе топнул ногой, прокричал высоким, отдавшимся у него в ушах голосом, что Акулина подлая, мерзкая женщина, но Василий вовремя потащил его к выходу. А дома его жестоко наказал отец за историю с рублем, настрого приказав не возиться с Алешей. С Василием мальчик об Алеше больше не говорил, поскольку тот отметил, что таких много и всех не пожалеешь. Но «смутное сознание царящей в мире несправедливости закрадывалось в душу» [3: с. 17], поэтому, встретив Алешу у дома, он сунул в его руку принесенный с кухни большой кусок хлеба. Мелит влюбился в Алешу, постоянно думал о нем в классе на уроках, дома в постели: «Нельзя дать другого названия тому чувству страстной нежности, какая охватывала меня

при представлении его лица, улыбки. <...> И мое детское сердце, еще не успевшее любить и страдать, сжималось от горячей жалости» [3: с. 17–18]. Однажды Мелит привел в дом спасенного из проруби Алешу, чтобы тот переменял одежду и обсушился. Выражая свою любовь, мальчик гладил Алеше руки, просил кухарку дать ему поесть, предлагал почитать сказку. Он просил отца, «захлебываясь в слезах, целуя эту суровую, но дорогую руку: — Папочка, родной, любимый... позволь ему остаться... он бедный, он дурачок... Его Акулина бьет. Папочка, дорогой мой, не гони его — а то я умру» [3: с. 22]. Нравственный порыв сына родители не поддержали, категорически запретив встречи с Алешей, которого с тех пор он не видел.

Главным условием нравственного взросления Андреев считал духовную деятельность самого ребенка, направленную на решение моральной проблемы, невольную поставленную взрослым; одним из его средств — обращение к культурно-историческому опыту человечества, содержащемуся в сказках; важным приобретением — произвольность поведения, умение видеть точку зрения другого человека. Ребенок, опираясь на образную логику в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, поэтапно решает проблему в единстве нравственных чувств, разума, воли: от эмоционального отношения к ней, ее отрицания к пониманию ее сущности и реализации действия. Абстрактные нравственные категории дети связывают с конкретной ситуацией из собственного опыта, а объектом их нравственных чувств становится определенный человек.

Ребенок в поисках нравственного идеала

Даже живя в разрушающих личность условиях большого города, считал Андреев, вслед за гуманистической традицией, идущей в педагогической психологии от Ж.-Ж. Руссо, ребенок, прикоснувшись к призрачной, пусть и обреченной на крушение мечте о счастье, душевно возрождается благодаря наличию огромных потенциальных возможностей и взаимодействию с живой природой в общении со сверстником. Главного героя

из андреевского рассказа «Петька на даче» — десятилетнего Петьку — к парикмахеру Осипу Абрамовичу отдала кухарка Надежда три года назад, чтобы тот поставил сына на ноги, но не для его блага, а для поддержки ее, одинокой и слабой женщины, в случае болезни или старости. Эту парикмахерскую отличал скучный запах дешевых духов, надоедливые мухи, грязь, нетребовательный посетитель. «Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствовали над этой местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного» [3: с. 119]. Служащие заведения чаще всего кричали на самого маленького, худенького, веснушчатого Петьку — мальчика, т. е. ребенка из бедной семьи, взятого на обучение и выполняющего самую грязную работу, а в будущем, возможно, способного перейти в подмастерья. «Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала... И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: “Мальчик, воды”, — и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было» [3: с. 123]. Петька не знал, мало или много он жил таким образом. Его жизнь скрашивало лишь редкое общение со старшим его на три года Николкой, готовым перейти в подмастерья. Иногда мальчики смотрели из окна на жизнь бульвара, а Николка рассказывал о женщинах и мужчинах грязные истории и смеялся. Он «важничал и держался, как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал» [3: с. 120]. Петька, при отсутствии другого примера, завидовал Николке, считая его умным и бесстрашным, думал, что и он будет таким же когда-нибудь, но пока не приобрел вредные привычки и не ругался, зная много скверных слов.

Личность Петьки нивелировалась до безымянной обязанности «мальчика», а индивидуальность свелась к простому действию — подаче горячей воды, важность которого ускользала от него, поэтому он часто не слышал резкого крика о воде или разливал ее.

Отупляющий труд, однообразие, монотонность жизненного уклада угнетали, приводили не к протесту против жизни, а к переживанию апатии. Петька, становясь эмоционально пассивным, не знал скучно ему или весело. Даже не радовался приходу матери: «...лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять» [3: с. 124]. А она, не понимая его состояния, думала, что ее единственный сын — дурачок. Познавательные интересы мальчика ослабевали, нарастало безразличие к окружающему миру, физическая и психическая активность снижалась, поэтому «Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон...» [3: с. 123–124]. По вечерам «прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле, и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту» [3: с. 123]. Равнодушный к своей внешности, Петька не замечал возрастающую худобу, появление нехороших струпьев на стриженной голове, всегда сонные глаза, полуоткрытый рот, грязные-прегрязные руки и шею. «Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика» [3: с. 124]. Но ощущение бессмысленности существования вызывало у Петьки не активный протест, а смутную надежду на лучшую жизнь, большое желание попасть куда-нибудь в другое место, но неизвестно, где и какое оно.

Собираясь с матерью на дачу, Петька, не зная, что это такое, предположил, что дача — то место, куда он стремился. Его эмоциональные переживания начали стремительно меняться уже на вокзале, затем в поезде, а душа открывалась многообразию новых и странных впечатлений. Он испытывал возбуждение и нетерпение от грохота и свистков паровозов, поражался широкой панорамой неба, равнины, поля, леса, моста и пр., открывающейся из окна поезда, которую он, городской житель, видел впервые в жизни. Боясь потерять малейшую подробность пути, «Петька прилип к окну, и только стриженная

голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне» [3: с. 125]. Теперь его глаза не казались сонными, морщинки исчезли, будто по его «лицу кто-нибудь провел горячим утюгом и сделал его белым и блестящим» [3: с. 127].

На даче Петькино преобразование из «состарившегося карлика» в живого эмоционально восприимчивого ребенка продолжилось под воздействием богатства и силы всех видов восприятия. Он помолодел, сняв гимназическую куртку, а босыми ногами ощущал ласковое жжение или холод от шершавой земли. «В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад» [3: с. 127], переживал все многообразие чувств — страх, испуг, боязнь, робость, беспомощность, слабость перед лицом природы, неизведанными, непонятными небом, лесом, опушкой леса, прудом. Петька волновался, вздрагивал, бледнел, улыбался, и эти чувства вызывали интерес, желание проникнуть в тайны природы, ведь «все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю» [3: с. 128]. Вступить в полное согласие с природой, взаимодействовать с ней, исследовать ее Петьке помог быстро с ним подружившийся гимназист Митя. Лидер, неистощимый на выдумки, он пристрастил Петьку вырезать в орешнике удочку, копать червей и удить рыбу, купаться до синевы от холода, играть в «классики», исследовать развалины дворца, где чудилось, что в мертвой тишине «вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа» [3: с. 129]. Природная чистота Петьки и общение с Митей возродили Петькину любознательность, познавательные интересы и активность. Теперь он начал самостоятельное поведение от постановки цели, выбора средств ее достижения до исполнения принятого решения, при этом стараясь не тратить время на такие неинтересные занятия, как еда. Таким образом, взаимодействие с природой и общение со сверстником как важнейшие факторы духовного развития за неделю

жизни на даче нивелировали отрицательные последствия трех лет бессмысленного пребывания в парикмахерской. Но они оказали не прямое воздействие, а преломились через опыт, внутренние душевные особенности мальчика, ведь Петька быстро и с огромным удовольствием перенял привычки исследователя от Мити, а не дурные от Николки. Отметим, что российские педагоги и врачи, утверждая благотворное влияние природы на физическое и психическое развитие особенно городских детей, лишенных чистого воздуха и солнечного света, рекомендовали отправлять их на каникулы в деревню. Врач-педиатр Н. П. Гундобин считал, что организация детских колоний в деревне имеет не только гигиеническое, оздоравливающее, но и воспитательное значение, поскольку дети могут непосредственно наблюдать за жизнью растений и животных, а также крестьян в ее разнообразных проявлениях [5: с. 21].

Страшной трагедией обернулось для Петьки известие о возвращении в город. Возникла ситуация острого конфликта между настоящей и прошлой жизнью, между внешним требованием вернуться в парикмахерскую, о которой мальчик забыл, и внутренним ощущением, что его мечта сбылась и он находится в том месте, куда всегда хотел уйти. «С одной стороны был факт — удочка, с другой призрак — Осип Абрамович. Но постепенно Петькины мысли стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак» [3: с. 132]. И тогда, не видя выхода из неожиданно создавшейся критической ситуации, Петька пережил аффект. Это сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние сопровождали ярко выраженные двигательные и висцеральные проявления, нехарактерные для мальчика и удивившие мать, барина и барыню. «...Во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом... он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные, он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок,

но как будто стараясь еще усилить ее» [3: с. 131–132]. Барин, барыня, да и мать не поняли трагедию Петьки, считая непродолжительным детское горе.

А Петька, хотя и попросил мать сохранить удочку в надежде на возвращение на дачу, покорно принял свою судьбу и в вагоне поезда не смотрел в окно, а сидел тихо, сложив ручки на коленях. Его глаза стали сонливыми и апатичными, около глаз и носа возникли тонкие морщины, как у старика. «Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву» [3: с. 133]. Жизнь Петьки в грязной и душной парикмахерской текла по-прежнему. Но, вспоминая то место, где хорошо и хотелось бы быть, он по ночам с тихим волнением рассказывал Николке «о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал» [3: с. 134]. Придаст ли приобретенный Петькой опыт смысл его жизни, как долго продлится его духовное возрождение? С пессимизмом пишет Андреев об отсутствии у детей будущего: «Мимо проезжал обоз и своим мощным громоханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужик бил такую же пьяную женщину» [3: с. 134].

Сашка тринадцати лет, герой рассказа «Ангелочек», осознавав несправедливость, бессмысленность, однообразие своего существования, оказался способным от пассивного переживания апатии, как у Петьки, перейти к активному протесту против жизни в близком социуме — семье, гимназии, — самостоятельно найти символ счастья, пусть иллюзорный. Сашке хотелось «не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени» [3: с. 24]. Но он не знал, как изменить жизнь или покончить с нею, в отличие от повзрослевшей героини-самоубийцы из рассказа «Молчание», поэтому «продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год,

и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять на коленках» [3: с. 24]. Отметим, что для Андреева тяжелым фактором разлада ребенка с жизнью является полное разрушение его отношений с матерью из-за ее асоциальной позиции. Но активная, непокорная и смелая душа Сашки не позволяла спокойно принять зло, поэтому он мстил жизни, осознанно выбрав агрессию как способ протеста, вероятно, ориентируясь на поведение матери, как пример для подражания. Строя свое агрессивное поведение, он ясно представлял его цель (на кого оно направлено), формы ее достижения (вид агрессии) и возможный результат. Поэтому с обычным выражением дерзости и самоуверенности на лице Сашка дрался с товарищами (прямая физическая агрессия); грубил начальству (прямая вербальная агрессия); рвал учебники (косвенная физическая агрессия). Его прозвали в гимназии Волчком за привычку подергивать углы губ от желания оскалить зубы. Он специально демонстрировал окружающим ужасающий результат ссор со сверстниками: «Когда в драке ему расшибли нос, он нарочно расковырял его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывая язык» [3: с. 25]. Еще один способ косвенной агрессии Сашке подсказала его творческая натура: рисование в тетради карикатур на орущего себя, заткнувшего уши надзирателя и дрожащего от страха победителя. Частой была карикатура на мать и себя: «толстая и низенькая женщина была скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: “Прости прощенья, щенок”, — и ответ: “Не попрошу, хоть тресни”» [3: с. 25]. Но никто из учителей не проявил интереса к творчеству Сашки — рисованию — как средству нравственного развития, не подумал о направлении его бурной активности в социальное русло, а он остался наедине со своими проблемами. Прямую физическую агрессию как способ избавления от тягот жизни Сашка направил и на мать, когда она стала бить его за исключение из гимназии, а он укусил ее за палец. Теперь свободный до позднего вечера, когда

усиливался мороз, он бегал с ребятами, бил их, а боялся лишь голода, ведь мать его перестала кормить, но отец прятал для него еду.

Опираясь на высокий социальный интеллект, Сашка неплохо разбирался в людях, а поэтому лгал учителям, матери, испытывал отвращение к ее пьянству, грубости, неприязнь, ненависть, противодействие ей, но не лгал больному, жалкому отцу, сочувствовал его страданиям, презирал за слабость и ложь. Не уважал богачей Свечниковых, определивших его в гимназию, а потому сначала отказался идти к ним на елку: «А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если я к ним пойду. “Испорченный мальчик”, — протянул Сашка в нос. — Сами хороши, антипы толсторожие» [3: с. 27]. Выразив прямую вербальную агрессию благодетелям, он согласился пойти, но лишь с целью принести что-нибудь отцу, давно не имевшему хорошего табаку.

На празднике Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к наивным речам детей, намеренно совершив несколько безнравственных поступков. Он стащил из кабинета хозяина папиросы для отца; не поклонился сестре хозяйки и сопровождавшему ее лысому господину, показав ему язык. Когда маленький Коля Свечников дал Сашке, внушающему к себе уважение ростом и репутацией злого, испорченного, пробковое ружье, тот не задумываясь выстрелил ему в нос. Покрасневший нос и слезы Коли не вызвали у Сашки жалости, ведь желание причинять зло, проявлять агрессию даже к младшему стало нормой поведения.

Все на празднике угрюмый и печальный Сашка воспринимал как чуждое и враждебное: елку, ослепляющую красотой и крикливым, наглым блеском множества свечей; окруживших ее чистеньких, красивых детей. В его маленьком изъязвленном сердце возникло нехорошее желание физической агрессии — толкнуть елку, чтобы она упала на эти светлые головки. Сашка с чрезвычайной остротой ощущал одиночество, ненужность, заброшенность: «казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. <...> Думал, что у него есть отец, мать, свой дом,

а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти» [3: с. 34]. Даже любимый перочинный ножичек стал плохим, ведь когда завтра он его сломает, у него ничего не останется. Но вдруг Сашка с изумлением заметил на елке воскового ангелочка, казавшегося живым и готовым улететь, — символ мечты, идеала, счастья, добра, красоты, т. е. именно «то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые» [3: с. 34]. На лице фигурки лежала не печаль, не радость, а «печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не осознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем отца, и больше, чем все остальное» [3: с. 35]. В полном недоумении, тревоге, непонятном восторге Сашка открыл внутреннюю, невидимую всем присутствующим красоту ангелочка, опасавшуюся яркого назойливого света в отличие от внешней нарядности елки и игрушек. Его ожесточенная душа оказалась готовой к пониманию прекрасного, надежде на счастье, возможно, благодаря творческой натуре, способности к рисованию или острого желания изменить беспросветность жизни. Получив игрушку от хозяйки после уговоров и угроз, он замирал в чувстве неземной радости, «улыбался тихой и кроткой улыбкой. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило еще на печальной, грешной и страдающей земле» [3: с. 39]. Это веяние человеческого счастья, счастья одинокого, всеми забытого Сашки коснулось всех в зале: «И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети... И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназиста и одухотворенным рукою неведомого художника личиком ангелочка» [3: с. 40].

Сашка принес ангелочка отцу, с которым мог поделиться своим счастьем. Отживший отец и только начинающий жить сын с кротким покоем и безмятежностью на лицах рассматривали игрушку, по-разному понимая, плача и радуясь увиденной красоте, но «было что-то в их чувстве, что сливалось воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым» [3: с. 43]. Для Сашки «исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей и унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек...» [3: с. 42–43]. Отец и сын уснули, а повешенный у горячей печки восковой рождественский ангелочек, символ иллюзорности человеческих надежд, хрупкой и беззащитной красоты, несовместимой с жестокой жизнью, медленно таял. Андреев с пессимизмом пишет: «Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, упал с мягким стуком на горячие плиты. <...> В занавешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз» [3: с. 46]. И все-таки даже недолгое обладание иллюзией вскрывает огромные потенциальные возможности духовной жизни ребенка — пусть на неделю пребывания на даче или на один рождественский вечер.

Благодаря обретению детьми произвольности поведения, их нравственная деятельность, считал Андреев, с возрастом усложняется

по предмету и организации. Она направляется на пассивное ожидание идеала, имеющего наглядно-образный характер, его поиск, или на активный протест против зла жизни, в том числе асоциальный. Ребенок осознанно ставит цель деятельности, выбирает пути ее достижения, контролирует ее ход и результат. Средствами решения нравственных проблем являются общение с природой и сверстниками, художественное творчество, агрессия.

Заключение

Нравственное развитие в детстве Леонид Андреев представлял следующим образом: 1) его неосознанно запускают взрослые, случайно ставя ребенка в реальную ситуацию тяжелого нравственного выбора, тем самым разрушая светлый мир детства; 2) главным условием взросления выступает самостоятельная духовная деятельность ребенка с опорой на образную логику, приводящая к пониманию нравственной проблемы и нахождению способа ее решения; 3) важнейшими приобретениями ребенка являются произвольность поведения, умение понять точку зрения другого человека, принять и простить его, помогающие построить нравственное поведение; 4) средствами нравственного развития становятся чтение сказок, общение с природой и сверстниками, художественное творчество; 5) возрастные особенности взросления состоят в усложнении предмета и структуры нравственной деятельности; 6) индивидуальность ребенка сказывается в спектре, остроте, модальности эмоциональных переживаний относительно нравственной проблемы, в выборе средств ее решения.

Литература

1. Андреев Л. Н. Повести и рассказы. Куйбышев: Куйбышевское кн. изд-во, 1981. 512 с.
2. Андреев Л. Н. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. Рассказы. 1898–1903 гг. М.: Худ. лит., 1990. 639 с.
3. Андреев Л. Н. Петька на даче. М.: Эксмо, 2007. 160 с.
4. Брусянин В. В. Дети и писатели. Литературно-общественные параллели. (Дети в произведениях А. П. Чехова, Л. Андреева, А. Н. Куприна и Ал. Ремизова). М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1915. 272 с.
5. Гундобин Н. П. О призрении и воспитании молодого поколения. СПб.: Изд. А. Е. Рябченко, 1901. 31 с.

6. **Гундобин Н. П.** Детская смертность в России и меры борьбы с нею. СПб.: Лит.-мед. журнал д-ра Окса, 1906. 31 с.
7. **Дементьева И. К., Попшой Д. Р.** Нравственное воспитание детей дошкольного возраста // Цифровая среда дошкольного детства: сб. мат. VI Междунар. научно-практ. конф. Киров, 2021. С. 31–33.
8. **Запорожец А. В.** Избранные психологические труды: в 2 т. Т. 1. Психическое развитие ребенка. М.: Педагогика, 1986. 320 с.
9. **Космачева Н. В.** Психологические аспекты духовно-нравственного воспитания дошкольников // Педагогическое образование и наука. 2019. № 3. С. 45–49.
10. **Мельникова Н. В., Канунников Р. И.** Новообразования нравственной сферы в период детства // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. 2021. № 1. С. 56–61.
11. **Никольская А. А.** Возрастная и педагогическая психология в дореволюционной России: монография. Дубна: Феникс, 1995. 336 с.
12. **Пиже Ж.** Речь и мышление ребенка. М.; Л.: Учпедгиз, 1932. 412 с.
13. **Сикорский И. А.** Воспитание в возрасте первого детства. СПб.: Изд. А. Е. Рябченко, 1884. 206 с.
14. **Смирнова Е. О.** Психология ребенка. М.: ШКОЛА-ПРЕСС, 1997. 384 с.
15. **Урунтаева Г. А.** Детская психология. 4-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2020, 384 с.
16. **Урунтаева Г. А., Гошева Е. Н.** Современный дошкольник: тенденции изменения в детско-родительских отношениях и психическом развитии // Развитие человека в современном мире. 2019. № 3. С. 48–59.
17. **Чмелева Е. В.** История педагогики: педагогика дошкольного детства в России конца XIX – начала XX веков. М.: Юрайт, 2019. 194 с.
18. **Dahl A., Killen M.** A Developmental perspective on the origins of morality in infancy and early childhood // *Frontiers in Psychology*. 2018. Vol. 9. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01736; URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01736/full> (access date: 23.10.2021).
19. **Britton J.** Young people as moral beings: Childhood, morality and inter-generational relationships // *Children & Society*. 2014. № 29 (5). P. 495–507. DOI: 10.1111/chso.12085
20. **Van de Vondervoort J. W., Hamlin J. K.** Preschoolers' social and moral judgments of third-party helpers and hinderers align with infants' social evaluations // *Journal of Experimental Child Psychology*. 2017. № 164. P. 136–151. DOI: 10.1016/j.jecp.2017.07.004
21. **Wynn K.** Origins of value conflict: babies do not agree to disagree // *Trends in Cognitive Sciences*. 2016. № 20. P. 3–5. DOI: 10.1016/j.tics.2015.08.018
22. **Sommerville J. A.** Infants' understanding of distributive fairness as a test case for identifying the extents and limits of infants' sociomoral cognition and behavior // *Child Development Perspectives*. 2018. № 12. P. 141–145. DOI: 10.1111/cdep.12283

References

1. **Andreev L. N.** Povesti i rasskazy` [Tales and stories: collection]. Kujby`shev: Kujby`shevskoe kn. izd-vo, 1981. 512 p.
2. **Andreev L. N.** Sobranie sochinenij: v 6 t. T. 1. Rasskazy`. 1898–1903 gg. [Collected works: in 6 vols. V. 1. Stories. 1898–1903]. M.: Xud. lit., 1990. 639 p.
3. **Andreev L. N.** Pet`ka na dache [Petya in the village: collection]. M.: E`ksmo, 2007. 160 p.
4. **Brusyanin V. V.** Deti i pisateli. Literaturno-obshhestvenny`e paralleli. (Deti v proizvedeniyax A. P. Chexova, L. Andreeva, A. N. Kuprina i Al. Remizova) [Children and writers. Literary and social parallels. (Children in the works of A.P. Chekhov, L. Andreev, A.N. Kuprin and Al. Remizov)]. M.: Tip. t-va I. D. Sy`tina, 1915. 272 p.
5. **Gundobin N. P.** O prizrenii i vospitanii mladogo pokoleniya [On the recognition and education of the young generation]. SPb.: Izd. A. E. Ryabchenko, 1901. 31 p.
6. **Gundobin N. P.** Detskaya smertnost` v Rossii i mery` bor`by` s neyu [Child mortality in Russia and measures to combat it]. SPb.: Lit.-med. zhurnal d-ra Okса, 1906. 31 p.
7. **Dement`eva I. K., Popshoj D. R.** Nравstvennoe vospitanie detej doshkol`nogo vozrasta [Moral education of preschool children] // Цифровая среда дошкольного детства: сб. мат. VI Междунар. научно-практ. конф. [Digital environment of preschool childhood: collection of materials. VI International. scientific and practical. conf.]. Киров, 2021. P. 31–33.
8. **Zaporozhec A. V.** Izbranny`e psixologicheskie trudy`: v 2 t. T. 1. Psixicheskoe razvitie rebenka [Selected psychological works: in 2 vol. V. 1. Mental development of the child]. M.: Pedagogika, 1986. 320 p.

9. **Kosmacheva N. V.** Psixologicheskie aspekty` duxovno-nravstvennogo vospitaniya doshkol`nikov [Psychological aspects of the spiritual and moral education of preschoolers] // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka [Pedagogical education and science]. 2019. № 3. P. 45–49.
10. **Mel`nikova N. V., Kanunnikov R. I.** Novoobrazovaniya npravstvennoj sfery` v period detstva [Novoformations of the moral sphere during childhood] // Doshkol`nik. Metodika i praktika vospitaniya i obucheniya [Preschoolnik. Methodology and practice of education and training]. 2021. № 1. P. 56–61.
11. **Nicol'skaya A. A.** Vozrastnaya i pedagogicheskaya psixologiya v dorevolucionnoj Rossii: monografiya [Age and pedagogical psychology in pre-revolutionary Russia: monograph]. Dubna: Feniks, 1995. 336 p.
12. **Piazhe Zh.** Rech` i my`shlenie rebenka [Speech and thinking of a child]. M., L.: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo, 1932. 412 p.
13. **Sikorskiy I. A.** Vospitanie v vozraste pervogo detstva [Upbringing at the age of his first childhood]. SPb.: Izd. A. E. Ryabchenko, 1884. 206 p.
14. **Smirnova E. O.** Psixologiya rebenka [Psychology of the child]. M.: ShKOLA-PRESS, 1997. 384 p.
15. **Uruntaeva G. A.** Detskaya psixologiya [Children's psychology]. 4-e izd., ispr. i dop. M.: INFRA-M, 2020. 384 p.
16. **Uruntaeva G. A., Gosheva E. N.** Sovremenny`j doshkol`nik: tendencii izmeneniya v detsko-roditel'skix otnosheniyax i psixicheskom razvitii [Modern preschooler: trends in change in child-parental relations and mental development] // Razvitie cheloveka v sovremennom mire [Human development in the modern world]. 2019. № 3. P. 48–59.
17. **Chmeleva E. V.** Istoriya pedagogiki: pedagogika doshkol`nogo detstva v Rossii koncza XIX – nachala XX vekov [History of pedagogy: pedagogy of preschool childhood in Russia of the late XIX – early XX centuries]. M.: Yurajt, 2019. 194 p.
18. **Dahl A., Killen M.** A Developmental perspective on the origins of morality in infancy and early childhood // *Frontiers in Psychology*. 2018. Vol. 9. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01736; URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01736/full> (access date: 23.10.2021).
19. **Britton J.** Young people as moral beings: Childhood, morality and inter-generational relationships // *Children & Society*. 2014. № 29 (5). P. 495–507. DOI: 10.1111/chso.12085
20. **Van de Vondervoort J. W., Hamlin J. K.** Preschoolers' social and moral judgments of third-party helpers and hinderers align with infants' social evaluations // *Journal of Experimental Child Psychology*. 2017. № 164. P. 136–151. DOI: 10.1016/j.jecp.2017.07.004
21. **Wynn K.** Origins of value conflict: babies do not agree to disagree // *Trends in Cognitive Sciences*. 2016. № 20. P. 3–5. DOI: 10.1016/j.tics.2015.08.018
22. **Sommerville J. A.** Infants' understanding of distributive fairness as a test case for identifying the extents and limits of infants' sociomoral cognition and behavior // *Child Development Perspectives*. 2018. № 12. P. 141–145. DOI: 10.1111/cdep.12283